

Я-СВЕТ, КОТОРЫЙ НАД ВСЕМИ



ПАВЕЛ
ФЛОРЕНСКИЙ

—
*ДЕТЯМ МОИМ.
ВОСПОМИНАНИЯ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ*



РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Павел Флоренский

**Детям моим. Воспоминания
прошлых лет**

«ОМІКО»

2000

Флоренский П. А.

Детям моим. Воспоминания прошлых лет / П. А. Флоренский — «ОМІКО», 2000

Воспоминания Флоренского. Произведение, стоящее много выше обычной мемуарной прозы, — потому что прошлое ЛИЧНОЕ в нем накладывается на прошлое НАШЕЙ СТРАНЫ, а судьба России «страшных лет», в свою очередь, претерпевает удивительное философское и этическое переосмысление, позволяющее нам глубже и полнее осознать масштаб и истинность концепции этого великого русского философа...

© Флоренский П. А., 2000

© ОМІКО, 2000

Содержание

<I. Раннее детство>	5
Уединенный остров[1]	5
Семья вашего деда	7
<Закавказская степь>	9
<Тифлис>	11
Обезьяна	13
Прогулки с папой	14
Мать	15
Тетя	16
Рождение Люси	17
Прививка оспы	18
Шалости	19
Соня тетя	20
Впечатления таинственного	21
<II.>Пристань и бульвар (Батум)	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Павел Флоренский

Детям моим. Воспоминания прошлых лет

<I. Раннее детство>

Уединенный остров¹

1916.IX. 7 Ночь. После подготовки к службе: канун Рождества Пресвятой Богородицы. Пишу на аналое, при лампаде. – В переработанном виде пишу 1916.IX.20.

Семья наша (– разумею родителей своих и живших с нами теток, а также и нас, детей —), семья наша представляла замкнутый мирок. И отец, и мать, в особенности мать, вели ее к уединенности ото всего внешнего. Исключительная привязанность родителей друг к другу; брезгливость к житейским сторонам общественной жизни у отца и горделивая боязнь жизни у матери; мировоззрение отца (да и у матери тоже, вероятно), если не отрицавшее, то бесконечно принижавшее все общественные отношения и все стороны человеческой деятельности пред семейным началом; может быть, недостаточная обеспеченность семьи в то время, когда она еще складывалась; отвращение ото всех условностей, от «мишуры» и фальшивого блеска, бывшее основным настроением отца и, вероятно, от него ставшее сильным у матери; какая-то малопонятная, но несомненная аристократическая гордость семьи, особенно у матери, и это при всем ее всегдашнем заявлении, что «мы – самые обыкновенные люди», в чем она, кажется, более хотела уверить себя, чем в самом деле верила; может быть, тонкая струя духовной прелести – на почве отрешенности от жизни и своеобразного, внецерковного и внерелигиозного, аскетизма – все это вместе вело к тому, что наша жизнь была жизнью на уединенном острове, если угодно – на необитаемом острове, ибо людей мы не особенно долюбливали и старались держаться в стороне. Люди были бы похитителями чистоты, невозмутимости и ригоризма этого островного **рая**, и потому они лишь терпелись, да и то до поры до времени. Я сказал слово «**рай**», ибо так именно понимаю своего отца – на чистом поле семейной жизни возрастить рай, которому не была бы страшна ни внешняя непогода, ни холод и грязь общественных отношений, ни, кажется, сама смерть. Да, смерть, насколько я могу понять своего отца, никогда не входила в его расчеты, как не входил в его расчеты и грех, хотя он признавал, будучи пессимистом, что «люди – везде люди, со своими страстями и слабостями». Следовательно, задача этого эксперимента с жизнью, на который отец действительно потратил жизнь и много-много богатых и отличных дарований и усилий, была в возможно тщательном уединении семьи ото всего **иного**, ото всего, что могло бы возмутить гладь этого безоблачного существования. Все тяготы жизни отец нес на себе, но вносить их в семью не хотел; и, не выдержав тяжести одинокого несения труда, и горя, и неприятностей жизни, ради того, чтобы семья была избавлена от них, он надлюмился и, когда увидел неосуществленность своей жизни, потерял равновесие и телесное, и духовное. Это была воистину драма: на глазах рушилось все то, что он пытался создать всю жизнь и ради чего принес себя в жертву. Да, в жертву, ибо семья была его идолом, его богом, а он – ее жрецом и ее жертвою.

Задача семьи была – изолироваться от окружающего. Наша жизнь была жизнью «**в себе**», хотя едва ли «**для себя**», – существованием, отрезанным от общественной среды и от про-

¹ Если бы эти наброски, по переработке, были напечатаны, то их так и следуют озаглавить: «Детям моим». (Здесь и далее в сносках примеч. П. А. Флоренского, кроме оговоренных составителями.)

шлого. И в пространстве и во времени были мы «новым родом», новым поколением – сами по себе. Конечно, это зависело не только от желания родителей вести нас так именно, но и от многих сложившихся помимо намерений чьих бы то ни было обстоятельств. Но так или иначе, а мы, дети, почти не знали прошлого своей семьи, не говоря уже о нашем роде. На настоящее и, главным образом, на будущее смотрели глаза моих родителей. А прошлое... прошлое теоретически отрицалось, фактически не было известно или почти не было известно, а поскольку оно было пережито самими родителями – оно не было сладко. Обо всем этом я буду еще иметь случай говорить впоследствии. А теперь скажу лишь, что и отец мой, и мать моя выпали из своих родов; и понятно, что нить живого предания выпала из рук их, а отчасти и была просто выпущена. Мы же, дети, о ней почти ничего не знали. Потом я кое-что узнал. Но это уже впоследствии, да и то – путем расспросов, на которые, кстати сказать, никогда не получал от матери охотного и открытого ответа, путем разговоров с чужими, путем архивных и книжных разысканий. Эти знания мои не были знаниями, всосанными с молоком матери, не были жизненным, навек неотделимым от ума моего впечатлением, но были археологической реставрацией прошлого, научной работой, подобной всякой другой научной работе. Мне скорбно и тоскливо, что это так; но это – так. Молю Бога, мои милые, чтобы я сумел вас вырастить в более полнокровной, более почвенной жизни; дай Бог, чтобы все то, что я долгими усилиями и многими трудами сыскал для вас, пошло вам на пользу и чтобы вы не чувствовали той затрудненности дыхания в безысторической среде, какую испытывал ваш отец. Мои родители были по-своему подвижниками и праведными; но их мировоззрение, бывшее попыткой **семьею** преодолеть **нигилизм**, их окружавший в дни их юности, само таило в себе яды нигилизма. Не виню своих родителей, ибо слишком много они сделали не только для нас, но и сами в себе, в смысле имманентного преодоления позитивизма чрез создание в недрах его позитивистической религии семьи. Но, повторяю, была такая ужасная полоса русской истории, и сколько душ искалечено ею, сколько чистых сердец сделалось несчастными и бесприютными! Быть без чувства живой связи с дедами и прадедами – это значит не иметь себе точек опоры в истории. А мне хотелось бы быть в состоянии точно определить себе, что именно делал я и где именно находился я в каждый из исторических моментов нашей родины и всего мира, – я, конечно, в лице своих предков. Этого-то вот знания я лишен был, хотя всегда чувствовал, сам не знаю почему, что род наш очень древний и что возможность такого исторического самоопределения для нас, Флоренских, не исключена по существу.

Но как бы то ни было, а я рос без прошлого. Вот почему, располагаясь рассказывать вам, мои сынки, о своей жизни и о своих жизненных впечатлениях, я сознательно ограничиваю содержание своего рассказа тем кругом сведений, который был для меня родным и впитавшимся в мое сознание с детства. Другие сведения, полученные мною впоследствии, я изложу вам в особой работе, уже научного характера; а если здесь что-нибудь проскользнет из тех сведений, то лишь постольку, поскольку это безусловно необходимо для понимания моего рассказа. Так мне легче будет дать вам представление о духе нашей семьи, об укладе нашей жизни, о первоначальных интересах моих и о занятиях членов нашей семьи. И кроме того, только так я сумею изобразить вам уединенность нашего «острова».

Я все время твержу вам о нашей семье. Но пора, наконец, и более точно определить состав ее.

Семья вашего деда

1916.IX.20. Сергиев Посад

Семья наша состояла из моего отца (а вашего деда) Александра Ивановича Флоренского, моей матери (вашей бабушки, «бабы Оли», как называет ее Вася) Ольги Павловны, моей тетки, сестры моего отца, Юлии Ивановны Флоренской, нас, детей, появившихся последовательно в таком порядке: я (Павел, родился 9-го января 1882 г.), Люся (Юлия, родилась 1-го июля 1884 г.), Лиля (Елизавета, родилась 7 мая 1886 г.), Шура (Александр, родился 7 марта 1888 года), Валя (Ольга, родилась 19 февраля 1890 г.), Гося (Раиса, родилась 16 апреля 1894 года) и Андрей (родился 1-го декабря 1899 года), – и живших с нами подолгу или гостивших у нас сестер моей матери. Больше всего жила с нами тетя Ремсо (Раиса Павловна, как звал ее папа, или точнее – Репсимия Павловна Тавризова, а потом Коновалова, по второму мужу); тетя же Соня (София Павловна, впоследствии Карамьян), уехав от нас за границу, потом вышла замуж и бывала у нас довольно редко, живя в других городах. Тетя Лиза (Елизавета Павловна Мелик-Беглярова) и дети ее Маргарита и Давид иногда гостили у нас и были вообще близки к нашей семье, как и ее муж Сергей Теймуразович Мелик-Бегляров, но постоянно с нами не жили. Что же касается до тети Вари (Варвара Павловна), то она, бедная, умерла рано, и я ее помню очень смутно. Вот и весь круг нашей семьи. Сюда можно еще добавить очень редко бывавшего у нас маминого брата Аркадия, или, точнее, Аршака Павловича Сапарова, которого мы звали «Аршак-дядя», и детей его – Элю, Тамару, Нину, Павла, Лялю и Марусю, иногда посещавших наш дом. Но, повторяю, все это были отношения не особенно близкие, и семья замыкалась тетками. Бывали у нас и знакомые. Из них семьи наиболее близкие – это Новомейских и Андросовых. Об них будет сказано на своем месте.

Теперь для лучшего понимания нашей семьи я сообщу вам, мои сыночки, несколько сведений о членах ее, чтобы не возвращаться к тому же впоследствии.

Отец мой, Александр Иванович Флоренский, был сын Ивана Андреевича Флоренского (и, как я впоследствии узнал – внуком Андрея Матвеевича) и жены его Анфисы Уаровны, Соловьевой по отцу своему, Уару Ефимовичу Соловьеву. Впрочем, отчество своей бабушки и тем более своего прадеда я узнал значительно позже. Добавлю кстати, что из моих разведок выяснились и имена моих прабабушек: Васса Тимофеевна, мать Ивана Андреевича, и Катерина Афанасьевна, рожденная Иванова, мать Анфисы Уаровны. Отец мой родился 30 сентября 1850 года, «в 10 часов пополудни», как значится в записной книжке моего деда. Имянины его мы праздновали 23 ноября; а из записи деда я узнал, что они приходились на 22 октября. По моим расчетам, 30 сентября 1850 года приходится на субботу. Отец его был военным врачом. Но, мне думается, мой отец не успел ничего воспринять от своих родителей, так как мать его умерла, когда ему было немножко больше месяца, 7 ноября 1850 года, а отец – 11 ноября 1866 года, но с отцом своим мой отец жил очень мало, так как учился вне родного дома.

1916.X. 15. Сергиев Посад

А именно, он учился во Владикавказской классической гимназии, а потом перевелся в Тифлисскую 1-ую классическую гимназию, что на Головинском проспекте; учился он хорошо, первым учеником, но вследствие истории с директором Желиховским, которого он с товарищами по жребию были избраны исколотить, ему пришлось выйти из гимназии, и от волчьего билета он избавился только по заступничеству общественного мнения. Затем он держал экзамен экстерном и поступил в Институт Гражданских Инженеров в Санкт-Петербурге, каковой окончил в 1880-м году.

В этом же 1880-м году, 20 августа, он женился на матери моей, Ольге Павловне Сатаровой.

Настоящее имя ее – Саломия (Саломэ). Но тогда было принято заменять имена армянские равносильными или якобы равносильными именами русскими. И вот она оказалась Ольгою, и так прочно, что решительно никто из знакомых не подозревал о ее настоящем имени, и даже сама она, вероятно, вспоминала об этом только при преднамеренном ей о том напоминании. Родилась она 25-го марта 1859 года в городе Сигнахе. Отца ее звали Павлом Герасимовичем Сатаровым, а мать – Софией Григорьевной Паатовой. Впрочем, тут я не буду говорить о том, что узнал впоследствии. Напишу лишь суммарно, что в Петербург мать моя поехала в 1878-м или в 1879 г...

<Закавказская степь>

1916.X. 15. *Сергиев Посад*

Итак, в 1880-м году наша семья поселилась в Закавказской степи. Местом жительства нашего было избрано местечко Евлах Елисавет-польской губ[ернии], Джеваншарского уезда. В настоящее время там – станция Закавказской железной дороги с буфетом, построены домики, растут деревья. Тогда же это была чистая степь, в самом разбойничьем из мест Закавказья, среди татарских поселков, возле болотистого берега Куры. В ковыле, капетуве, лакрице и других травах этой степи водились в изобилии фазаны и – лучшая из дичи и редчайшая – турачи. Кура изобиловала лососями, осетрами и всякой рыбой, так что постоянно у наших была свежая рыба и дичь, и сами они готовили себе свежую икру. Но зато и опасностей всякого рода было достаточно: ядовитые змеи, скорпионы, фаланги и тарантулы, комары, москиты – всего этого в девственной степи было много-премного. Родители рассказывали мне, как однажды папа, ложась спать, поднял, чтобы перевернуть, подушку и нашел под подушкой змею, свернувшуюся кольцом. Змею, конечно, убили, но впечатление жути живо и до сих пор, даже у меня. Что же касается до скорпионов и ядовитых пауков, то они постоянно заползали в наше жилище. Ну, конечно, о черепахах, джейранах и других существах невинных и говорить нечего, – там их, мало пуганных еще людьми, было весьма много.

Я сказал – «в наше жилище». Да, потому, что сначала мои родители жили в товарном вагоне, или в товарных вагонах, обитых коврами, а потом был выстроен из волнистого железа барак, обитый внутри войлоком. Этот барак и послужил началом для позднейшей станции железной дороги. В нем было три комнаты и, кроме того, отдельная пристройка – кухня.

Причину, почему поселились мы в Евлахе, было назначение моего отца на должность начальника соответствующего участка Закавказской ж. д. Этот участок строился моим отцом. А с другой стороны, это совпадало и с желанием наших быть поближе к имению Мелик-Бегляровых (тогда принадлежавшему отцу Сергея и Александра Теймуразовичей Теймуразу Фридоновичу Мелик-Беглярову) – **Карачинару**. Мамина сестра Елизавета была замужем за Сергеем Теймуразовичем, а Евлах был ближайшей к **Карачинару** станцией ж. д. Тетя Лиза часто бывала у нас вместе с другими сестрами; и наши бывали у нее, а потом и жили некоторое время, когда папа заболел лихорадкой.

Но, чтобы представить яснее место рождения своего отца, вы, мои мальчики, должны прочитать «Очерк Закавказской степи», написанный тетей Юлей. Я поместил его в число писем ее к Пекокам, потому что думаю, что она должна была написать им что-нибудь в этом роде. А кроме того, в другой редакции, он вошел в ее дневник. Юля тетя приехала в Евлах в конце 1880-го года или в январе 1881-го года, позже мамы и тем более позже папы.

И вот среди степи, в дикой местности, я родился 9-го января 1882-го года, вечером, часов около семи – в час, всегда бывший самым моим любимым.

Этот вечерующий час, между шестью и семью, всегда был моим часом, и по сей день нет для меня ничего сладостнее, милее и мистичнее, в хорошую сторону, чем этот час прозрачности, мира и наступающей прохлады. Зажигающаяся звезда Вечерняя, огонь в сумерки...

К моему рождению привезли из Тифлиса акушерку. Кроме того, приезжали к маме ее сестры – тетя Лиза и тетя Ремсо, которой было тогда лет 17, а м[ожет] б[ыть], и тетя Соня. Меня назвали Павлом, в честь св[ятого] апостола Павла – если только думали о св[ятом] Апостоле, и в память дедушки Павла Герасимовича Сапарова, незадолго перед тем умершего. Но назвали – домашним образом, без священника (да, впрочем, православного священника ближе, как в Тифлисе, и не было): крестили же очень нескоро, что отчасти соответствует кавказскому обычаю, а отчасти происходило, вероятно, от равнодушия родителей к таинствам.

О жизни в Евлахе я, разумеется, ничего не помню. Но и родители, и тетки мне почти ничего об этом времени не рассказывали, или если рассказывали, то у меня ничего не осталось в памяти. Один только случай помнится мне. Его рассказывала мне тетя Соня, спасшая меня от грозившей смерти захлебнуться в воде. Обстояло дело так. Мама и тетки купались в Куре, а берег был крутым откосом. Меня положили на краю берега, в уверенности, что я еще мал и потому не смогу сдвинуться с места. Но я как-то добрался до самого края и покати́лся по откосу. Уже у самой воды меня поймала тетя Соня.

Затем известно мне, что папа заболел малярией и вследствие этого пришлось ему взять отпуск. Вся семья поселилась в Карачинаре, где провела лето <1882> – го года. Осенью же мы переселились в Тифлис. Это было <осенью 1882> – го года.

В Евлахе мы прожили всего года **полтора: одну зиму, лето и еще зиму.**

<Тифлис>

От жизни в Тифлисе у меня остались хотя и очень отчетливые, но разрозненные впечатления. А т[ак] к[ак] первые детские впечатления определяют дальнейшую внутреннюю жизнь, то я попытаюсь записать возможно точнее все, что я могу припомнить из впечатлений того времени. Но запись эта едва ли будет соответствовать хронологическому порядку.

1916.XI.18. Серг[иев] Пос[ад]. Ночь

Мы жили в двух квартирах. В одной помещалась столовая, гостиная и еще какие-то спальни. В другой жил я с Юлей тетей – в другой, т. е. во флигеле. Сообщение между двумя помещениями было через двор, вымощенный камнями, сквозь которые прорастала трава. Обычно я ходил в сопровождении кого-нибудь из старших, а может быть, кое-когда решался пробежать и один. Но как-то раз, сидя в столовой, – это было днем, я соскучился по тете Юле или по маме, может быть, почему-то не приходившей из флигеля ко всем, – и побежал к ней или за ней. Как сейчас помню все, что было. Я отворил дверь и сразу, спустившись 2–3 ступеньки, очутился под слегка темным навесом, образуемым около дома. Помню, что навес этот держался на деревянных некрашенных столбах с ободранной корою, посеревших от дождя... Вероятно, дело было к вечеру, или погода была бессолнечная, но у меня осталось впечатление сумеречное. И вот на каменной мостовой двора, проросшей травой, б[ыть] м[ожет], осенней уже, – я вижу эту мостовую, как сейчас, – увидел я нечто. Скорее, сперва я услышал – какой-то неслышанный мною своеобразный звук. Его я уже испугался. Но любопытство и смелость победили. Я решил было прошмыгнуть мимо и добраться до своей цели. Но... побежав далее с почти зажмуренными глазами, я вдруг остолбенел. Предо мною стоял невиданный снаряд. Что-то в нем быстро вертелось, визжало, скрипело, и от колеса сыпались яркие искры. И, самое страшное, какой-то человек, мне он показался темным силуэтом на небе, вероятно, вечеряющим, – какой-то человек стоял при этом снаряде невозмутимо, бесстрастно и бесстрашно и **что-то** держал в руках...

Я стоял как очарованный взглядом чудовища. Предо мною разверзались ужасные таинства природы. Я подглядел то, что смертному нельзя было видеть. Колеса Иезекииля? Огненные вихри Анаксимандра? Вечное вращение, ноуменальный огонь... Я остолбенел и пораженный ужасом, и захваченный дерзновенным любопытством, зная, что не должно мне видеть и слышать видимого и слышимого. Но мне открывалась живая действительность таинственных сил естества, бёмовская первооснова, гётевские матери. И тот, кто стоял при таинственном искрометном снаряде, тот темный силуэт – это не был, конечно, человек, это не было одно из существ земли, это был дух земли, великое существо, несоизмеримое со мною. Оно меня не заметило, вероятно...

Не знаю, сколько времени длилось это откровение и столбняк. Секунду ли, несколько ли секунд; но, конечно, очень недолго. И только прошел упоительный и страшный миг **слияния** с этим огненным первоявлением природы, только явилось сознание себя, как панический ужас охватил меня. И вот характерная подробность: никогда мне не изменявшее самообладание в минуту **последнего ужаса** появилось у меня и тогда, и это первое из памятуемых мною таинственных потрясений души. Я не растерялся. Почти прыжком очутился я снова в столовой, откуда выбежал, и тут только, как это бывало и впоследствии в таких случаях, уже в надежной пристани, на коленях у кого-то из старших, я дал волю овладевшему мной ужасу. Со мною сделалось что-то вроде нервного припадка. Поили сахарной водой, успокаивали. «Ведь это точильщик точит ножи, Павлик, – твердили старшие. – Пойдем, посмотрим». Но я, разумеется, никого не слушал, но и не спорил со старшими. Я тогда уже понимал, что они не постигнут **таинства**, которое открылось мне и ужаснуло меня. Мне предлагали проводить меня через

двор. Но и на это не сдавался я. И трудно сказать, только ли от страха пред потоком ноуменальных искр или и от другой боязни – не пережить вновь пережитого, увидеть то, о чем говорили мне взрослые, – что-то обыкновенное и в самом деле не внушающее ужаса... И долго после того боялся я один проходить по двору.

Это чувство откровения тайн природы и ужаса, с ним связанного, тютчевской Бездны и влечения к ней было и есть, как мне думается, одна из наиболее внутренних складок моей душевной жизни.

Вглядываясь в себя еще пристальнее, я нахожу еще нечто, чему я научился от этого нашего обитания в двух квартирах, сообщающихся двором. Это именно твердое, органическое убеждение в **мистическом** «есть» при противоречии ему эмпирического «кажется».

1916.XI.23. Серг[иев] Пос[ад], утро. Щамятъ] Александра] Нееск[ого]

Две квартиры разделены между собой пространством, их – две; но духовно они **одно**, одна квартира – наша квартира, в двух являющаяся. Дом, семья есть живое единство, и в мое детское сознание не вместились бы, если бы и возникло, понимание семьи не как полного, неразрывного даже в отвлечении единства. Не «я», а «мы» – таково было отношение к внешнему, т. е. за пределами семьи существующему миру. Но эта слитная, неделимая, органически связанная семья жила в двух помещениях. А т[ак] к[ак] помещение, форма бытия семьи, по единству семьи непременно должно быть едино, то тут я воспринимал таинственное единство двух квартир, разделенных двором. Я хорошо помню, что это не позже придумалось, а именно тогда было, именно тогда родилось во мне понимание того, что пространственная разделенность может лишь только **казаться** и что, вопреки казанию внешнего опыта, может быть внутреннее единство – не **объединенность**, а именно единство. Но, в связи с описанным выше случаем точильщика ножей, возникло и другое, не менее определенное убеждение, что для опытного опознания этого таинственного единства надо сойти в области, где – всякие страхи, где происходят таинства природы, куда хоть и влечет почти непреодолимое любопытство, но где подстерегают охраняющие эту таинственную область нечеловеческие ужасы. Не должно человеческому оку смотреть на тайны естества, хотя они и открывают мир совсем с иной стороны, со стороны внутреннего единства. Но это единство может открываться и не непосредственно, каким-то более тонким восприятием, **не** только прямым опытом, и **этого** достаточно. Вот что усвоилось в моей душе после того случая, – конечно, не столь отчетливо, но зато и более непреложно. И это усвоение осталось у меня на всю жизнь, хотя, разумеется, по непреодолимому своему исследовательству я не всегда исполнял эту заповедь о непознании.

Обезьяна

Другой случай, тоже относящийся к мистическому восприятию природы, с ее страшными охранительными стражами, относится ко времени более давнему и потому, вероятно, помнится мною смутно. Хотя я знаю, что кое-что помню об этом случае из личного опыта, но разграничить памятуемое от узнанного из рассказов старших не умею. А обстояло дело так: тетя Лиза привезла из своего имения много отличного винограда. Мне дали полизать его, но больше дать побоялись. А чтобы я не просил, папа нарисовал – мне помнится, синим и красным карандашом – на большом листе обезьяну и, поставив за виноградом, сказал, что обезьяна не позволяет мне брать виноград. В детстве я был очень покорен и безусловно верил всякому слову старших. В запретах же таинственного характера способен был усумниться тем менее, да и сейчас едва ли способен. И вот, конечно зная, что обезьяна эта нарисованная, я умоляюще протягивал к ней руку и просил: «Базана, дай мне лангату», – т. е.: «Обезьяна, дай мне винограду». Эта просьба почему-то **всем** в доме очень запомнилась, и, может быть, потому, что ее мне многократно повторяли впоследствии, я твердо помню ее до сих пор.

Но гряда зрелого винограда, золотисто-зеленая, полупрозрачная, словно флюоресцирующая в луче солнца, – мне помнится, и она – стоит, как сейчас, предо мною как живой образ неиссякаемого, сладостного изобилия природы. Может быть, мой вкус к золотисто-зеленому тону, и в особенности к флюоресценции стекла в кружковой, например, трубке или в трубках Гейсслера, тоже флюоресцирующих у катода зеленовато-желтым, виноградным или яблочным цветом, – этот мой почти всем существом трепет при виде такого свечения, при виде осенних полупрозрачных зелено-золотых орешников, при виде светлячков – зародышем своим имел именно то пленение грудю винограда. И – запрет: как сейчас, представляю наскоро набросанного синим карандашом, вероятно, орангутанга, по немецкому *Conversations Lexikon Meyers*² который, как я отчетливо понимал тогда, стоит безусловным стражем этого восхитительного изобилия, против которого не может быть возражений, на которого некому жаловаться, который выше даже внутреннего обсуждения. Нарисованный – и живой, более, мощнее, значительнее, неумолимее живого. Нет, я не путал его с просто обезьяной. Но я тогда-то и усвоил себе основную мысль позднейшего мировоззрения своего, что в имени – именуемое, в символе – символизируемое, в изображении – реальность изображенного **присутствует**, и что потому символ **есть** символизируемое. Это-то символизируемое, эта охраняющая сила Природы стояла предо мною в рисунке моего отца, если не ошибаюсь – при мне же нарисованного. И я, пред непреодолимым, смирялся безропотно и без туги. Это был запрет усвоить себе бесконечную производительность природы, ибо идею винограда я воспринял как бесконечность. Впоследствии, когда я видел картины Сомова, где то же превышемерное, ломающее ветви, количество винограда в огромных, тяжелых зеленовато-желтых кистях, я полусознательно вспоминал это свое детское впечатление Природы как Артемиды Эфесской, как Матери Изобилия; и, не имеющийся у Сомова, **запрет** мгновенно вставал в душе. Много, бесконечно много... но не для меня; мне касаться до этого «не позволяет обезьяна».

² В Большой Энциклопедии, по Мейеру составленной, в т. 14, после стр. 228. табл. 1. помещен, кажется, тот самый рисунок оранг-утанга, с которого рисовал папа, но только он пририсовал сюда и туловище, сколько помню.

Прогулки с папой

Отец часто брал меня с собою на прогулки, в город, и, конечно, всегда они заканчивались какими-нибудь занимательными для меня покупками, то сладостей, то игрушек. Помнится мне смутно, как в одну из таких прогулок была подарена мне первая кукла. Смутно припоминаю, что ноги и руки ее болтались на жидко набитых тряпочках и что куклу эту я страстно любил.

Мы жили высоко, на половине Давидов-ской горы. Подъем туда и сейчас был бы не очень легким в тифлисскую жару; тогда же я, едва ходивший, от жары размаривался и раскисал. По Головинскому и Дворцовой я ходил с папой, а возвращался домой уже у него на руках или сидя на плече: папа любил носить нас, маленьких, именно на плече. Жгучее тифлисское солнце, дышащий в лицо жар от накалившихся скал, стен и мостовой, душный воздух и тяжелые, словно злые, лучи, придавливающие долу своею тяжестью спину и голову, словно прижимающие к мостовой пыль, врезались в мое сознание, и с тех пор во мне живет чувство враждебности Солнца-Молоха, полуденного тифлисского солнца, готового пожрать все живое. В этих прогулках мне открылась еще таинственная и уже определенно враждебная сила природы.

Было ли папе очень трудно вносить меня на Давидовский подъем, я не знаю. Но у меня осталось за эти ношения на плече к нему наиболее благодарное чувство как к избавителю от враждебного и злого Солнца-Губителя. Отчасти, может быть, это так еще и потому, что Люся еще не рождалась или была совсем маленькой, у меня не было с ней столкновений, отец принадлежал мне всецело, и еще не было у меня с ним неприятностей из-за Люси, которые стали омрачать мое детство впоследствии и тем самым вносить несколько отчуждения от отца. Тогда единство сына и отца, в моем сознании, было безусловным, и самый отец был для меня безусловным отцом, а я – его безусловным сыном.

Мать

Этого чувства близости и нераздельности существования у меня никогда не было в отношении к матери. Прежде всего она мало возилась со мною, занятая Люсей и потом другими детьми. Сдержанная, замкнутая, гордо-застенчивая в проявлении чувств, преувеличенно-стыдливо прятавшаяся от меня уже с самого детства – когда кормила и вынашивала детей, она казалась мне с первых дней моего сознания существом особенным, как бы живым явлением природы, кормящей, рождающей, благотельной, – и вместе далекой, недоступной.

Этому впечатлению от матери – как от Матери-Природы – способствовал и культ, которым отец мой, и по движению чувства, и по сознательному убеждению, чтит мою мать, полагая, что жена-женщина вообще есть существо особое, а его жена – и трижды особое, что, впрочем, было, вероятно, не несправедливо. В ней я не воспринимал лица; она вся окружала наше бытие, всюду чувствовалась и была как-то невидима. Я мог говорить об отце, о тете Юле, о братьях и сестрах, и тетках, и двоюродных братьях и сестрах, но едва ли что-нибудь мог раньше сказать о матери своей; да и сейчас я очень мало могу сказать о ней – лишь то, что говорили мне о ней другие, но не свое. Ибо сила моего анализа не может расчленить аморфного, хотя и очень сильного, впечатления от матери, не может обьективироваться оно, не может выразиться в слове. С отцом я много, всегда разговаривал; с тетей Юлей, с тетками, со всеми – тоже. Но с матерью, кажется, никогда, или у меня сложилось впечатление, что я не разговаривал с нею. Отношения к ней мне представляются чувством одинокого путника в большой прохладной роще. Священный трепет и молчание, прохлада и робость... не страх, а...

Мать была для меня родными недрами бытия, но прижаться к ней как к родной – было странным, неподходящим. Конечно, я говорю об этом преувеличенно. Конечно, я прижимался к ней, целовал ее, но мне помнится, что она с каждым годом все не то холоднее, не то смущеннее встречала эти ласки, и я чувствовал, что нарушаю какие-то должные грани. А я, надо отметить, был ребенок очень ласковый, все время целовал то одного, то другого и жить без этих ласк не мог, как без воздуха, тепла и света. Мне вспоминается позднейший рассказ моей матери или тети Лизы – моей жене Анне, что исключительно легко меня отняли от груди: я даже не заметил этого. И какое-то смутное полувоспоминание подтверждает мне этот рассказ: я как-то не был пристрастен к материнской груди, чтобы не сказать, что от нее отталкивался; и потому при первом поводе отпал от нее, как если бы высохла влага, склеивавшая две бумажки. Отпал от груди и не заметил, т. е. никогда связан с грудью не был. Как похоже это на мое непосредственное памятование этих первых событий моей жизни. И это тем более характерно, что я, повторяю, был ребенком ласковым чрезвычайно, привязчивым чрезвычайно и всем существом отдавался каждой любви. И если даже грудь материнская не тянула к себе мое сердце, если с грудью матери не вырывалась из души моей что-то самое любезное сердцу, с ним – и сама душа, это значит – тут я не могу не заявить этого решительно, – что с самого начала у меня не было той привязанности к матери, которая бывает у всякого ребенка, – привязанности сыновней.

Этою последнею всецело владела тетя Юля. По сказанным я не хочу сказать, что у меня не было никаких отношений к матери. Напротив, они были весьма могучи. Однако они были не личны, они были характера скорее пантеистического, чем нравственного.

В матери я любил Природу или в Природе – Мать, *Naturam naturantem*¹ Спинозы. Я знал, что мать очень любит меня; и в то же время у меня было всегда чувство таинственного величия ее. И мне казалось, что она же может встать во весь рост – и, не заметив меня, – раздавить. Я не боялся этого и не протестовал бы против этого. Но при этом не могло быть отдаления, какого и в помине не было в отношении отца или тети.

Тетя

Тетя, напротив, представляла обратный полюс моей детской жизни. В ней я не отрицал ноуменальной мощи, не удивлялся ей, но любил ее глубоко-личную любовью, был, вероятно, влюблен в нее со всем цельным чувством ребенка. Она была мне и другом, и товарищем, и учителем; с ней я делился своими горестями и радостями; от нее получал выговоры и наказания (хотя таковых бывало очень мало), вообще все человеческое было у нее. Она не подавляла меня своей отрешенностью от мелочей жизни; с нею можно было поболтать о нарядных платьях, кружевах, бантиках и шляпах, до чего я был большой охотник; с нею можно было собирать цветы и делать букеты; вообще с нею можно было жить. Матери же надо было поклоняться. И не потому, чтобы она **требовала** поклонения. Напротив, ничто, если брать сознание, убеждения, не было столь чуждо моей матери, как притязание на внимание и под [обное]. Напротив, она тяготилась всяким вниманием, усиливала свою скромность и свое стеснение до невозможности жить в человеческом обществе... И все же, а может быть, и тем более, около нее была атмосфера, требовавшая поклонения, а не жизни.

Рождение Люси

Сестра моя Люся родилась, когда мне было уже 2 1/2 года. Но ни рождение Люси, ни первые годы ее существования не оставили следа в моей памяти. Мне смутно припоминается, что однажды утром папа взял меня на руки и сообщил о рождении сестры. Очень смутное осталось впечатление, что он этому был доволен и сообщал мне семейную новость весело; как будто это произошло в столовой. Но ничего значительного в связи с этим я не пережил и Люси новорожденной не помню. Очень смутно припоминается, что меня повели к маме и что мама лежала среди всего белого. Но я не смею утверждать, что я не смешиваю тут рождение Люси с рождением следующих за ней детей. Кажется, ничего не осталось у меня и от крещения Люси, названной так (сокращение от Юлии) в честь тети Юли.

Прививка оспы

Но одно событие из нашей первоначальной жизни врезалось мне в память очень ярко. Это именно прививка мне и Люсе оспы. Отлично помню, что о необходимости прививки у нас неоднократно говорилось, но со дня на день самая прививка откладывалась, кажется, долго не получалась свежая лимфа. Я заранее трепетал от неведомого мне ужаса, но втайне надеялся, что будут откладывать-откладывать и авось забудут о ней. И действительно, о прививке перестали говорить, может быть заметив слишком сильное впечатление, этими разговорами на меня производимое. И я почти успокоился.

Но вот однажды я сидел на лавочке возле дома. Кто-то сидел рядом со мною, вероятно кто-нибудь из двоюродных братьев, или Датико (Давид Сергеевич Мелик-Бегляров), или Сандру (Александр Степанович Чрелаев). Вероятно, вечерело. Вот по улице идет какой-то человек. Мое сердце сразу екнуло, почувствовав **какую-то** беду, мне еще неведомую, но тем более страшную. Подойдя к нам, он спросил, здесь ли живут Флоренские, и, может быть, попросил сказать, что пришел фельдшер. Со всех ног, задыхаясь от волнения, я бросился домой, в полуоткрытый тут же подъезд, убегая не столько ради данного мне поручения, сколько от злого человека.

1916.XI.24

Сообщил ли родителям о нем я или, что мне припоминается смутно, двоюродный брат, не могу сказать твердо; но что я где-то в спальне забился в угол – это помню. Кажется, меня не сразу нашли, а искать торопились, – не желая задерживать фельдшера и вследствие близящегося наступления потемок. Пока искали меня, привили оспу Люсе. Меня привели в гостиную, полутемную по времени дня, – когда уже началась прививка. Надрез ей сделали сильный. Вид крови, увиденный мною едва ли не впервые, так поразил меня, что я даже не стал сопротивляться, когда принялись за меня, и застыл от ужаса. От ужаса же я не заметил ни боли, ни самой прививки, находясь в оцепенении, и волнение и, вероятно, слезы наступили значительно позже.

Эта первая прививка удалась, и даже чересчур. Может быть, я был слишком велик для нее и чесал свою руку, но все три шрама от прививки получились в виде трехкопеечных монет и даже до настоящего времени отчетливо видны на левой руке. Ими очень интересовался Васенька, сынок мой, а я ему объяснял, что это пуговицы, которыми застегнута на мне чело-вечья кожа, и что стоит их расстегнуть, как я скину кожу и в виде птицы выпорхну из кожи, разобью оконное стекло и улечу за дальние края...

Спрашивая себя, какую идею открыл мне описанный случай, и освещая сознанием нижайшие слои своей памяти, я нахожу, что этою идеею было **неизбежное**. Мне стало тут ясно, что есть **неизбежное**, которое выше меня, выше всех, даже взрослых, выше даже родителей, что оно не только внешне, но и внутренне необходимо, но что оно не соответствует нашим желаниям и вкусам. **Подчинение** высшей – не скажу воле, а неизбежности. Разуму мира, но безличному, неутомимому и не теплomu, – подчинение этому пантеистическому провидению открылось мне как долг. Покорный по натуре, я тут согнал, что покорность **требуется**, а не есть **моя** уступчивость, **мое** нежелание бороться.

Шалости

Признание **закона** над собою определяло мое самочувствие с раннейшего детства. Прокazia, я знал, что вслед за тем **должно** последовать и возмездие, – не потому, чтобы так **хотели** старшие, а по существу вещей. Но при таком сознании трудно расшаливаться, трудно часто шалить. Имея в душе большой запас резвости, я с детства был скован сознанием, что я не один и что есть Правда надо мною. А шалить можно, именно забывая обо всех и обо всем, **в упоении** своим внутренним движением... И то, что стало впоследствии: «не стоит» – не стоит бороться, не стоит полемизировать, не стоит даже спорить, – тогда было задержкою шалостей.

Как-то я в чем-то напроказил, меня поставили в угол. Через несколько времени, забывшись, я сделал ту же маленькую проказу. Но, памятуя закон возмездия, я сам подошел к недоумевающим старшим с вопросом: «В который?» – т. е. в который угол встать мне. Потом, когда мой вопрос разъяснился, двоюродный брат Датико часто подсмеивался надо мною, спрашивая: «В который?» Но обиды я не чувствовал, таким необходимым представлялся мне подобный вопрос, – я не понимал соли насмешки.

Соня тетя

С нами жила еще сестра матери, тетя Соня. Она была тогда молоденькой, почти девочкой, – и обучалась музыке. Мне смутно помнится ее музыкальный портфель, кажется, шоколадного цвета с золотой надписью – вероятно, «Muzique», с которым она бегала в музыкальное училище. Помнится также, что в каком-то отношении было к ней теплое молоко, которое в стакане носилось ей в комнату; может быть, когда она была больна или потому, что у нее начинался туберкулез. Молоко же, а теплое в особенности, с детства возбуждало во мне брезгливое чувство, – может быть, этим объясняется, что я так легко отстал от материнской груди, или, наоборот, молоко я невзлюбил потому, что к материнской груди не сумел привязаться всей душой: – и тетя Соня, которой относилось это теплое молоко, возбуждала во мне не то удивление, не то соболезнование. А все вместе казалось окруженным тайною и загадочным. Но, понятное дело, я не открывался взрослым. И не только потому, что свои глубочайшие восприятия дети никогда не открывают взрослым, но и еще более потому, что мои восприятия казались мне столь естественными, **общими** всем, обычными, что о них не стоило говорить; да и как найти, не говоря уж о том, – как **было** найти слова для выражения чувств и мыслей, охватывавших **все** поле внутренней жизни, а потому, при всей своей острой специфичности в силе, расплывчатых, неуловимых, невыразимых? В детстве же чувство **таинственности** было у меня господственным, это был **фон** моей внутренней жизни, на котором обрисовывалась нежность и ласка к родителям. Все окружающее, то, что обычно не кажется и не признается таинственным, очень многие привычные и повседневные предметы и явления имели какую-то **глубину** теней, словно по четвертому измерению, и выступали в рембрандтовских вещих тенях.

Еще один случай усилил во мне те же чувства. Однажды услышал я разговоры взрослых, что у Сони тети – вросание ногтей на ноге и что надо сделать операцию. Я заранее волновался. Слово «операция» мне казалось ужасом, хотя я не понимал его. Помню отчетливо, как пришел кто-то, вероятно фельдшер, как все наши зашли в комнату тети Сони, оставив меня одного, как потребовалась тепловатая вода и как потом вынесли таз с водой, смешанной с кровью. Казалось мне, что таз полон дымящейся крови; вид ее поразил меня таинственностью и ужасом. Но на этот раз было объективное созерцание ужаса, я сознавал, что **не мне** на этот раз угрожают тайные **силы**.

Впечатления таинственного

1919. III. 5. Серг[иев] Пос[ад]

Искра. Нечто, кажущееся обыкновенным и простым, самым заурядным по своей частоте, нередко привлекало в силу каких-либо особых обстоятельств мое внимание. И вдруг тогда открывалось, что оно – **не** просто. Воистину что-то вдруг припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им открывалось иное, ноуменальное, стоящее выше этого мира или, точнее, глубже его. Полагаю, это – то самое чувство и восприятие, при котором возникает фетиш: обычный камень, черепица, обрубок открывают себя как вовсе не обычные и делаются окнами в иной мир. Со мною в детстве так бывало не раз. Но в то время как иные явления всегда манили к себе мою душу, никогда не давая ей насытиться, другие, напротив, открывали таинственную глубину свою лишь урывками, даже единично, раз только. Одним из таких восприятий были искры.

Мы тогда жили в Батуме, в доме Айвазова. Было же мне около <четырех-пяти> лет. Возбуждаясь к вечеру, я долго-долго не соглашался ложиться спать; а когда ложился, то все равно часами лежал, не засыпая, ворочаясь с боку на бок и в миллионный раз изучая рисунок обоев или одеяла. Это были часы почти что пытки, когда я вылеживал в постели без сна. И потому я очень не любил укладываться спать рано, несмотря на уговоры. Однажды я с тетей

Юлей сидели в спальнной комнате, что выходила на двор. Сначала тетя занимала меня, читала, рассказывала, а потом стала посылать спать. Но я чем-то особенно заупрямился и не шел. Тетя говорила, что надо идти. На дворе было темно. Тетя говорила, что если я не пойду, то сон может улететь спать и тогда я уже не засну; не знаю, говорила ли она, ипостасируя сон, или я только – так ее понял. Но посмотрел в темное окно – дело было осенью – и вижу: летят искры; вероятно, развели таган или печурку на дворе, с углями. И одна за ним последняя, особенно яркая, летит как-то одиноко поодаль, отсталая. Я – к тете: «Смотри, что это?» А она: «Это улетает твой сон. Вот теперь ты не сумеешь заснуть». Я видел искры, как я, конечно, видывал не раз до того. Но я почувствовал, что тетя глубоко права, что это действительно летит мой сон, имеющий невидимую, но бесспорную форму ангелка, – и что, улетаая, он делает что-то непоправимое. Я разрыдался. Почувствовал, что что-то свершилось. Поспешил лечь, но долго-долго не смыкались веки. Прошли с тех пор годы. Как-то недавно (1919. III. 19) служил я всенощную в церкви Красного Креста. Химические угли у нас кончились, приходится разжигать кадило простыми, из плиты, и при каждении они иногда искрятся. Вот искра от кадила полетела, как-то одиноко, в темном пространстве алтаря. И мне сразу вспомнилось, как такую же искрою «улетел сон мой» в детстве. А та, детская, искра в свой черед будила воспоминание об огненном потоке искр из-под колеса точильщика, открывшем мне иной мир, полный таинственной жути и влекущий и волнующий ум. Искры перекликаются с искрами и подают весть друг о друге. Сквозь всю жизнь мою пронизывается невидимая нить искр, огненная струя золотого дождя, осеменяющая ум, как Юпитер Данаю:

Unda, fluens palmis,
Danaen eludere possit².

1919. VI. I.

Яды. С детства, самого глубокого, слово «яд» меня особенно манило, даже тогда, когда я не понимал его значения. Самый звук этого слова, «яд», самое написание

яд,

да и вообще буква «я», особенно в ее произношении
ја,

казались какими-то вкрадчивыми, сладковатыми, коварными, разрушительными, но разрушительными таинственно, без физических причин, словно магически. Да, яд я воспринимал как некую магию, естественную, м[ожет] б[ыть], но в своей определенности, в своей неизбежности, в неукоснительности и неотвратимости своего действия особенно таинственную и поэтому особенно льстивую, особенно манящую, обещающую особенные сладостно-жгучие волнения.

Это впечатление от слова «яд» связаны у меня со словом «Янкель». Может быть, в каких-нибудь подслушанных разговорах было упоминаемо имя Янкель – может быть, в каком-то жутком применении – не знаю почему, но **Янкель**, может быть, и по присутствию **Я** и сладкого **кель**, показалось знаменательно-зловещим, каким-то ядовитым, льстиво-коварным и губительным. Мне думается, что тут был отголосок от разговора о жидах-контрабандистах, живших в нашем дворе и потом внезапно и таинственно исчезнувших, оставив все таинственное имущество.

Однажды я с тетей Юлей были на балконе, окружавшем наш дом в Батуме. Это было в доме Айвазова. Как сейчас помню, мы были на внутреннем балконе, обращенном к внутренней стороне двора. Тетя, кажется, сажала цветы, до которых и она, и я были большие охотники, в длинные ящики, заказанные по ее просьбе папою, вдоль перил нашего балкона. Я же – ничего не делал и от безделья взял и сунул в рот кусок зеленой, вроде папиросной, оберточной бумаги и, разжевав его, стал разминать комья, привлеченный яркостью зеленого цвета. Этот зеленый цвет, напоминающий зелень изумруда и зелень морской воды в пристани, воды, играющей жирным блеском и видимой сквозь щели пристани, меня притягивал своею яркостью и своею тайною, казалось мне, враждебностью. Тетя, увидев мое занятие, испуганно одернула меня: «Что ты делаешь! Скорей брось эту бумагу, – я бросил ее поспешно, – и никогда не бери в рот зеленой бумаги. Помни, она окрашена зеленой краской, которая называется **«Янкель»**, – эта краска **«Янкель»** очень ядовита, и от нее можно умереть».

«Янкель», – я вздрогнул. Так вот он, «Янкель», так я трепетал пред этим словом. Так, по крайней мере, услышал я. Теперь-то я думаю, что тетя сказала не «Янкель», а «мышьяк», ибо зеленая краска действительно мышьяковая, но я вместо незнакомого мне слова **мышьяк**, тоже с таинственным **ьяк-ја**, услышал более привычное **Янкель**, уже окрашенное ядовитостью. И с тех пор не могу видеть этой полупрозрачной, тонкой бумаги зеленого цвета, особенно если она прикасается к губам, так и кажется, вот сейчас отравится кто-нибудь. И, вероятно, по связи с нею, меня странно притягивают и манят изумруды, но кажутся ядовитыми и тайно-губительными, очень магичными. И чувствую, тут есть какой-то, опять, переклик с зеленостью винограда, мне когда-то не данного.

<II.> Пристань и бульвар (Батум)

<Море.> Тоны **около зелени**, то голубоватые, то желтоватые, напитали меня в детстве через **море**. Свои детские и отроческие годы я провел в постоянном и ненасытном, и всегда ненасытимом, созерцании моря. Редкий день проходил без того, чтобы мы, дети, т. е. я с Люсей, не побывали на берегу два, а то и три раза. И никогда море не наскучивало. Никогда впечатление от него не скользило по душе, всегда впивалось всем существом.

Мы шли утром, после чаю, захватив с собою на завтрак бутерброды с котлетами и с сыром, а иногда еще и свежие или сушеные фрукты, каштаны, орехи или монпасье, желтые или зеленые, – опять какие-то переделки с теми, волнующими цветами. Няня или тетя Юля в несколько минут приводили нас на бульвар. Тогда, лет тридцать пять тому назад, море еще было у первой аллеи бульвара; лишь впоследствии оно так отступило от насаждений – туй и кипарисов, – несмотря на почти каждодневное прибавление их, вдогонку за уходящим морем. Играли на песке аллеи или спускались по хрустящему гравия к самой воде. Гальки были гладкие, словно искусственно обточенные. Я знал от взрослых, что они действительно обточены морским прибоем, но верил этому наполовину: разве эти камушки не выросли в море, как раковины или кораллы? Разве они не образования живых существ?

Копались в мелком гравии, у самой воды, разыскивая цветные прозрачные камушки – опалесцирующие голубо и фиолетово халцедоны, таинственно светившиеся по всей массе внутренним мерцанием, словно налитые светом. Ленточные агаты, тонкослоистые оранжевые и красные сердолики с белыми прослойками, изредка аметисты, желтые и зеленые кварциты, а иногда – прозрачные топазы, как то монпасье, что приносили мы с собою, и многие другие, – редкий день мы приходили домой, не нагруженные добычей. Эти камни были похожи на художественно небрежные бусы ручной работы, рассыпавшиеся с подводного ожерелья; в моем сознании они роднились и почти непрерывно переходили в венецианские бусы, которые папа покупал нам в лавчонке на пристани. Таинственные наслоения сердоликов и агатов, их тончайшая слоистая структура настораживали мысль: я чувствовал тут какой-то сокровенный смысл природы, и, казалось, вот-вот он раскроется, объявится тайна. Иногда ходили на море с папой. Папа объяснял по поводу наших находок, что эти слои образовались от вековых осадений в подземных скважинах и пещерах. А я видел в этих слоях осевшие века, окаменелое время. Время никогда не мог я постигнуть как бесповоротно утекшее; всегда, насколько помню себя, жило во мне убеждение, что оно куда-то отходит, может быть, именно в эти самые скважины и пещеры стекает и там скрывается, засыпает; но когда-то и как-то к нему можно подойти вплотную – и оно тогда проснется и оживет. Прошлое – не прошло, это ощущение всегда стояло предо мною яснее ясного, а в раннейшем детстве еще более убедительно, нежели позже. Я ощущал вязкую реальность прошлого и рос с тем чувством, что на самом деле прикасаюсь к бывшему много веков тому назад и душою вхожу в него. То, что в истории действительно занимало меня – Египет, Греция, стояло отделенное от меня не временем, а лишь какою-то стеною, но сквозь эту стену я всем существом чувствовал, что оно и сейчас здесь. Слоистые камни представлялись мне прямым доказательством вечной действительности прошлого: вот они – слои времен – спят друг на друге, крепко прижавшись, в немом покое; но напрягусь я, и они заговорят со мною, – я уверен, – потекут ритмом времени, зашумят, как прибой веков. Впоследствии, едва ли не по этому издетскому нежному чувству к слоистости, я увлекся геологией – именно слоистыми образованиями, и приходил в дрожь и холодный восторг при виде четких геологических пластов. Ведь это буквально книга, как и книга – не есть ли осевшее время?

Занимали овальные плоские известняковые гальки, которыми набивали мы себе полные карманы. Иногда попадались такие гальки с естественною дырою; мы надевали странный камень на палку и восхищались им, отчасти суеверно преклонялись. Загадочное отверстие,

с его гладкими, словно обсосанными, краями, манило ум и втягивало в себя всего. Отверстия вообще казались таинственными жилищами Неведомого и перекликались с вождеденными пещерами, подземельями, погребам и темными чердаками, с ямами, канавами, туннелями и длинными коридорами; за всеми или я признавал силы первичного мрака, в котором родилось все существующее, и мне хотелось проникнуть туда и навеки поселиться там. Но другие пустоты слишком опасны, чтобы позволить приближаться к себе безнаказанно; а **ЭТИ** отверстия в камнях, светленькие, чистенькие, гладенькие, теплые на солнце, вполне по силе мне. И я совал туда палец и заглядывал в них тысячи раз, все с тем же чувством их таинственности, которого не могли рассеять ни доступность этих отверстий, ни объяснения отца или тети. Уже взрослым я узнал о таких камнях, что они называются у крестьян «куричьими богами» и вешаются в курятниках как обереги кур от домового и всяких болезней. Как это ответило моим детским мыслям и как я узнал в этих «куричьих богах» свои таинственные гальки!

На берегу, при помощи палок, строили морские заливцы; или втыкали палки в песок и с тем же чувством тайны вглядывались в темную дыру, куда набиралась морская вода. Любо было видеть отжатый и посеревший песок словно набухающим и чернеющим от притока влаги. Иногда разгребали прибрежный гравий и находили слой мокрый, а ниже – поднимающуюся и опускающуюся, живую, дышащую там воду. Выкопать яму, хотя бы маленькую, всегда казалось родом магического действия: само существо ямы таинственно. Что же? – В яме живая вода. Все на воде и в воде, да и не простой, понятной воде питьевой, а в воде таинственной, горько-соленой, привлекательной и недоступной. В Батуме эта мысль о воде была особенно естественная, потому что Батум действительно весь в воде и на воде. Исследовали эту воду в ямках – сосали палец, омоченный в ней, – удивлялись ее горько-соленому вкусу. Совсем слезы. И не значит ли это, что и сам я – из той же морской воды? Везде взаимные соответствия, за что ни возьмешься – все приводит опять и опять к морю.

Ловили медуз палками. Красивые цветы с опалесцирующими чашечками, налитые светом, колыхались в воде, нежно обведенные фиолетовою каймою. Мы знали, что они жгутся, но это принималось как должное: к таинственному нельзя подходить безнаказанно. А вытащишь их – растают на теплых камнях в бесцветную слизь, и ничего не останется. Кто-то говорил нам, будто, если сушить медуз между листами пропускной бумаги, часто меняя их, то все же останется красивая нежная сетка. Я не отрицал этого, но это казалось далекой сказкой, а ближайший опыт говорил попросту: медузы – порождения того же моря, та же вода и ничего более, и в воду потому расплываются. В земле – вода, во мне – вода, медузы – тоже вода... Различное по виду, однако едино по сущности.

Среди выбросов моря со всегдашним удивлением находили рогатые орехи чилим, почерневшие от пребывания в воде. Мы побаивались их, казалось несомненным их родство с морскими чертягами, и потому эти странные орехи мы старались не трогать руками, а когда подбирали, то – с опаскою и осторожно: кто его знает, что они на самом деле и как поведут себя. Бездна моря полна тайн и неожиданностей. Правда, взрослые говорят, что это – орехи, и взрослые, конечно, правы, но ведь взрослые вообще таинственной стороны всего окружающего не касаются, – не то не замечают ее, не то скрывают от нас, наверно, чтобы не пугать нас; ведь вот они никогда не говорят нам о таких заведомо существующих вещах, как черти, русалки, лешие, даже не говорят о милых эльфах. А мы-то, положительно не знаю откуда, как-то об этом обо всем давно проводили, несмотря на все поставленные воспитательные преграды. Так вот и чилим: они, т. е. взрослые, думают, что мы будем не спать по ночам, и потому нарочно говорят, будто это просто орехи. А может быть, это только кажется орехами? Почему же они такие черные? Почему они с рогами?

Нередко море дарило нас белыми трубками. Папа говорил, что это корни камыша и что месторождение их, вероятно, река Чорох, устье которого недалеко от Батума. Но и тут такому упрощению дела и верилось и не верилось. Слишком уж ясно все милому папе. А почему же

эти «корни» такие белые и жирные, словно черви? Почему они трубками? Что-то в объяснении взрослых не так: слишком уж явна странность этих «корней». Белые трубки, они живые – и будет, а дальше уж не следует углубляться и разоблачать их тайну, раз они хотят быть в неизвестности. Они прикинулись корнями – ну и сделаем вид, что этому верим, но только сделаем вид, чтобы их не обидеть и не рассердить. И казалось несомненным: неспроста валяются они на берегу, а нам, именно нам, принесены Морем. Много еще других удовольствий доставляло оно нам – радовало нас, зная, что мы придем к нему и что мы любим «сюрпризы», даже самое это слово. Осколки бутылочного стекла, обтертые прибоем в ласковые матовые кусочки, нагревавшиеся на солнце; тоже ласково выглаженные тем же движением волн палки и куски дерева, чистенькие, светлые, теплые; тоже приглаженные кочерыжки от початков кукурузы. Иногда, после бури, находилась на берегу какая-нибудь рыбка, водоросли или раковины – и радости тогда не было конца, я переполнялся волнением, сердце билось так сильно, что, казалось, готово выскочить. Помню, находили иногда, очень редко, морского конька, а мне даже попалась раз после очень сильной бури рыбка-игла, которая потом много лет хранилась в моей коллекции редкостей. Оглядывая теперь вспять свое детство, я вижу исключительную бедность батумского берега выбросами и отменную ничтожность наших находок;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.